**Алексей Михайлович Ремизов. Крестовые сестры**

Петр Алексеевич Маракулин сослуживцев своих весельем и беззаботностью заражал. Сам — узкогрудый, усы ниточкою, лет уже тридцати, но чувствовал себя чуть ли не двенадцатилетним. Славился Маракулин почерком, отчеты выводил букву за буквой: строчит ровно, точно бисером нижет, и не раз перепишет, зато после — хоть на выставку неси. И знал Маракулин радость: бежит другой раз поутру на службу, и вдруг переполнит грудь и станет необыкновенно.

Враз все переменилось. Ждал к Пасхе Маракулин повышения и награду — а вместо того его со службы выгнали. Пять лет заведовал Петр Алексеевич талонными книжками, и все было в исправности, а затеяли директора перед праздником проверять — что-то не сходится. Говорили потом — кассир, приятель Маракулина, «подчислил». Пытался доказать Петр Алексеевич, что какая-то тут ошибка, — не слушали. И понял тогда Маракулин: «Человек человеку бревно».

Прогулял лето без дела, позаложил вещи, пораспродал, сам пообдергался. И с квартиры пришлось съехать. Поселился Петр Алексеевич в Бурковом доме, напротив Обуховской больницы, где бродят люди в больничных халатах и мелькает красный крест белых сестер, С парадного конца дома живут богатые: и хозяин Бурков, бывший губернатор, и присяжный поверенный, и доктор медицины, и генеральша Холмогорова — «вошь», процентов одних ей до смерти хватит. С черного — квартиры маленькие. Тут и сапожники, и портные, пекаря, банщики, парикмахеры и кого еще только нет. Здесь и квартира хозяйки Маракулина, Адонии Ивойловны. Она — вдова, богатая, любит блаженных и юродивых. Летом на богомолье уезжает, оставляя квартиру на Акумовну, кухарку. По двору любят Акумовну: Акумовна на том свете была, ходила по мукам — божественная! Из дома она — почти никуда, и все хочется ей на воздух.

Соседи у Маракулина — братья Дамаскины: Василий Александрович, клоун, и Сергей Александрович, что в театре танцует, ходит — земли не касается. А еще ближе — две Веры. Вера Николаевна Кликачева, с Надеждинских курсов, бледненькая, тоненькая, массажем зарабатывает, хочет на аттестат зрелости готовиться, чтобы поступить в медицинский институт, а учиться трудно до слез, и ночью воет Вера, словно петлей сдавленная. Верочка, Вера Ивановна Вехорева, — ученица Театрального училища. Верочка нравилась Маракулину. Танцевала хорошо, читала с голосом. Но поражала её заносчивость, говорила, что она великая актриса, кричала: «Я покажу, кто я, всему миру». И чувствовал Маракулин, это она заводчику Вакуеву показать хочет: содержал год, а надоела — отправил в Петербург, учиться на тридцать рублей в месяц. Ночью билась Верочка головой о стену. И Маракулин слушал в исступлении и всякую «вошь» проклинал.

На лето все разъехались, а осенью — не вернулась Верочка. После видели её на бульваре, с разными мужчинами. На её месте поселилась Анна Степановна, учительница гимназии, — мужем обобранная, обиженная, брошенная. Осенью туго всем пришлось. Клоун Василий Александрович упал с трапеции, ноги повредил, Анне Степановне жалованье оттягивали, у Маракулина — работа кончилась. И вдруг — вызов ему из Москвы, от Павла Плотникова. Сам-то Маракулин московский. Ехал — вспоминал.

В те далекие годы Петр много возился с Пашей, и Плотников его слушался как старшего. И позже, когда взрослый Плотников пил и готов был выкинуть все что угодно, только Петр Алексеевич мог унять безудержного приятеля. Подумал Маракулин и о матери, Евгении Александровне: на могилу надо сходить. Вспомнил её в гробу, — ему было тогда десять лет, виден был её крест на восковом лбу из-под белого венчика.

Отец Жени служил фабричным доктором у отца Плотникова, часто брал её с собою. Насмотрелась Женя на фабричную жизнь, душа переболела. Взялась помогать молодому технику Цыганову, что для фабричных чтения устраивал, книжки подбирала. Раз, когда все сделала, заторопилась домой. Да Цыганов вдруг бросился на нее и повалил на пол. Дома ничего не сказала, ужас и стыд мучили. Себя во всем винила: Цыганов «просто ослеп». И всякий раз, когда приходила к нему помочь, — повторялся тот вечер. И молила его пощадить, не трогать, но он не хотел слышать. Через год исчез Цыганов с фабрики, вздохнула было Женя, да тут точь-в-точь произошло то же самое и в другой раз, только с братом её, юнкером. И его молила, но и он не хотел слышать. А когда через год брат из Москвы уехал — молодой доктор, помощник отца, заменил брата. И три года она молчала. И себя винила. Отец, глядя на нее, тревожился: не переутомилась ли? Уговорил поехать в деревню. И там в Большой пост на Страстной неделе во вторник ушла она в лес и молилась три дня и три ночи со всею жгучестью ужаса, стыда и муки. А в Великую пятницу появилась в церкви, совсем нагая, с бритвою в руке. И когда понесли плащаницу, стала себя резать, полагая кресты на лбу, на плечах, на руках, на груди. И кровь её лилась на плащаницу.

С год пролежала в больнице, чуть заметный шрамик остался на лбу, да и то под волосами не видно. И когда знакомый отца, бухгалтер Маракулин Алексей Иванович, объяснился ей — решилась, рассказала все без утайки. Он слушал кротко и плакал, — любил её. А сын помнил лишь: мать была странная.

Всю ночь не заснул Маракулин, лишь раз забылся на минуту, и приснился ему сон, будто Плотников уговаривает: лучше жить без головы, и режет ему шею бритвой. А приехал — горячка у Плотникова: «головы нет, рот на спине, и глаза на плечах. Он — улей». А не то — король заполярного государства, управляет всем земным шаром, хочет — влево вращает, хочет — вправо, то остановит, то пустит. Вдруг — после месячного запоя — узнал Плотников Маракулина: «Петруша, хвост-прохвост…» — и, шатнувшись к дивану, завалился спать на двое суток. А мать — плачет и благодарит: «Исцелил его, батюшка!»

Когда очнулся Павел, потащил Маракулина в трактир, там за столиком признался: «Я в тебя, Петруша, как в Бога верую, не заладится в делах — имя твое назову, — смотришь, опять все по-старому». И таскал за собой, потом — на вокзал проводил. Уже в вагоне вспомнил Маракулин: так и не успел на могиле матери побывать. И какая-то тоска хлынула на него…

Невесело квартиранты встретили Пасху. Василий Александрович выписался из больницы, ходил с трудом, будто без пяток. Вере Николаевне не до аттестата — доктор посоветовал куда-то в Абастуман отправляться: с легкими неладно. Анна Степановна с ног валилась, ждала увольнения и все улыбалась своею больной страшной улыбкой. И когда Сергей Александрович с театром условие заключил о поездке за границу, других стад звать: «Россия задыхается среди всяких Бурковых. Всем за границу надо, хоть на неделю». — «А на какие мы деньги поедем?» — улыбалась Анна Степановна. «Я достану денег, — сказал Маракулин, вспомнив о Плотникове, — тысячу рублей достану!» И все поверили. И головы закружились. Там, в Париже, найдут они все себе место на земле, работу, аттестат зрелости, потерянную радость. «Верочку бы отыскать», — схватился вдруг Маракулин: сделается она в Париже великою актрисой, и мир сойдет на нее.

По вечерам Акумовна гадала, и выходила всем большая перемена. «А не взять ли нам и Акумовну?» — подмигивал Сергей Александрович. «Что ж, и поеду, воздухом подышу!»

И пришел наконец ответ от Плотникова: через банк перевел Маракулину двадцать пять рублей. И уехал Сергей Александрович с театром за границу, а Веру Николаевну и Анну Степановну уговорил поселиться с Василием Александровичем в Финляндии, в Тур-Киля, — за ним уход нужен. С утра до вечера ходил Маракулин по Петербургу из конца в конец, как мышь в мышеловке. И ночью приснилась ему курносая, зубатая, голая: «В субботу, — стучит зубами, смеется, — мать будет в белом!» В тоске смертельной проснулся Маракулин. Была пятница. И поледенел весь от мысли: срок ему — суббота. И не хотел верить сну, и верил, и, веря, сам себя приговаривал к смерти. И почувствовал Маракулин, что не вынесет, не дождется субботы, и в тоске смертельной с утра, бродя по улицам, только и ждал ночи: увидать Верочку, все рассказать ей и проститься. Беда его водила, метала с улицы на улицу, путала, — это судьба, от которой не уйти. И ночь мотался — пытался Верочку отыскать. И суббота наступила и уж подходила к концу, час близился. И пошел Маракулин к себе: может, сон иное значит, что ж у Акумовны он не спросил?

Долго звонил и вошел уж с черного хода. Дверь в кухню оказалась незапертой. Акумовна сидела в белом платке. «Мать будет в белом!» — вспомнил Маракулин и застонал.

Вскочила Акумовна и рассказала, как полезла утром на чердак, белье там висело, да кто-то и запер. Вылезла на крышу, чуть не соскользнула, кричать пытается — голоса нет. Хотела уж по желобу спускаться, да дворник увидел: «Не лазь, — кричит, — отопру!»

Маракулин свое рассказал. «Что этот сон означает, Акумовна?» Молчит старуха. Часы на кухне захрипели, отстукали двенадцать часов. «Акумовна? — спросил Маракулин. — Воскресенье настало?» — «Воскресенье, спите спокойно». И, выждав, пока Акумовна угомонится, взял Маракулин подушку и, как делают летние бурковские жильцы, положив её на подоконник, перевесился на волю. И вдруг увидел на мусоре и кирпичах вдоль шкапчиков-ларьков зеленые березки, почувствовал, как медленно подступает, накатывается прежняя его потерянная радость. И, не удержавшись, с подушкой полетел с подоконника вниз. «Времена созрели, — услышал он как со дна колодца, — наказание близко. Лежи, болотная голова». Маракулин лежал в крови с разбитым черепом на Бурковом дворе.